

A narrow canal flows through a medieval town. On the left, a half-timbered building with a stone base and arched windows stands over the water. A stone bridge with a single arch spans the canal. On the right, a stone wall with a wooden balcony and lush green trees is visible. In the background, more half-timbered buildings and a brick chimney are seen under a blue sky.

Петр Сойфер

Ритм земли. Протокол "Танец"

18+

Петр Сойфер

Ритм земли. Протокол "Танец"

<https://litres.ru/74021996>

SelfPub; 2026

Аннотация

Страсбург, наши дни. При прокладке туннеля рабочие вдыхают древний газ и начинают танцевать — не останавливаясь, пока не падают замертво. Международная группа из четырёх учёных спускается под город и обнаруживает нечто, пролежавшее там сотни миллионов лет: природное соединение невообразимой сложности, способное управлять человеческим мозгом.

Пятьсот лет назад то же самое случилось здесь. Летом 1518 года Страсбург охватила Танцевальная чума — сотни горожан танцевали до смерти. Тогда никто не понял, что произошло. Теперь — поняли.

Но открытие, которое может изменить медицину, одновременно стоит состояний. За учёными уже следят. И у них есть двадцать четыре часа, чтобы решить: отдать находку тем, кто превратит её в деньги, — или найти третий путь.

Роман о том, что земля помнит дольше, чем люди. И о том, что правильное решение редко бывает быстрым.

Петр Сойфер

Ритм земли.

Протокол "Танец"

РИТМ ЗЕМЛИ

ПРОТОКОЛ «ТАНЕЦ»

Роман

Dr. Peter Soifer

Глава 1. Под городом

Туннель существовал уже два года — сначала как чертёж на столе главного инженера проекта, потом как разметка на асфальте, потом как котлован, потом как бетонная кишка, уходящая на восемнадцать метров под уровень мостовой. Его прокладывали методично, посменно, без выходных, потому что сроки давно поджимали и каждая неделя промедления обходилась консорциуму в суммы, о которых рабочие предпочитали не думать. Страсбург над ними жил своей жизнью: трамваи огибали ограждения, туристы фотографировали готический собор, в брассериях подавали штрудель и эльзасское вино, и никто из тех, кто шёл по улице Большой Аркады в половине седьмого утра, не думал о том, что

у них под ногами, на глубине, сопоставимой с пятиэтажным домом, сорок два человека заканчивали ночную смену.

Бригадир Люк Форнье первым почувствовал изменение — не умом, не приборами, а той частью тела, которая у горняков и туннельщиков развивается после многих лет работы под землёй и которой нет названия в анатомических атласах. Это было что-то среднее между давлением в ушах и ощущением, что пол под ногами стал чуть мягче, чуть живее, будто порода, которую они вгрызались уже восемь часов подряд, вдруг перестала быть мёртвой. Он поднял руку — жест, который в туннеле означал одно: стоп. Проходческий щит замолчал. Стало слышно, как капает вода где-то в дальнем конце забоя, как гудят вентиляционные трубы, как дышат люди.

— Люк? — окликнул его Тьерри Массон, помощник, молодой парень из Мюлуза, работавший на проекте третий месяц. — Что-то не так?

Форнье не ответил сразу. Он снял каску, потёр висок, снова надел. Потом медленно подошёл к забою и положил ладонь на свежую поверхность скальной породы. Порода была тёплой. Не просто нагретой от бурения — тёплой иначе, изнутри, как бывает тёплой кожа живого существа.

— Дай мне газоанализатор, — сказал он наконец.

Массон протянул прибор. Форнье поднёс его к нескольким трещинам в породе — тонким, как нитки, почти незаметным, которых здесь не было ещё четыре часа назад, он

был в этом уверен. Прибор пискнул, выдал цифры, которые Форнье не сразу понял. Потом понял.

— Всем отойти от забоя, — сказал он ровным голосом.
— Немедленно.

Никто не двинулся с места. В туннеле команды выполняются быстро, это правило, вбитое в рефлексy, — но что-то в интонации бригадира было не таким, как обычно. Не тревогой, нет. Скорее тем особым спокойствием, которое бывает у людей, когда они уже всё поняли и просто ждут, пока поймут остальные.

— Люк, что показывает прибор? — спросил Массон.

— Отойди от забоя, Тьерри.

Массон отошёл. За ним потянулись остальные — медленно, не понимая, но подчиняясь. И в этот момент порода треснула.

Не взрывом — это важно. Не обвалом, не грохотом. Порода треснула тихо, почти деликатно, как трескается лёд на реке в первый тёплый день, — длинным, извилистым разломом от пола до свода, и из этого разлома пошёл воздух. Не дым, не пыль, не газ в том смысле, в каком его понимают горняки, — просто воздух, чуть более плотный, чем тот, которым они дышали последние восемь часов, с едва уловимым запахом, который невозможно было описать точно. Не сера. Не аммиак. Что-то органическое, очень древнее, похожее одновременно на запах прелой листвы в осеннем лесу и на что-то, что каждый из присутствующих, если бы его спро-

сили отдельно, назвал бы по-своему.

Форнье первым вдохнул полной грудью — не намеренно, просто он стоял ближе всех к разлому, и лёгкие сделали это сами. Потом вдохнул Массон. Потом ещё трое, стоявших у левой стены туннеля. Потом — почти одновременно — все остальные.

Первые секунды ничего не происходило.

Потом Форнье почувствовал, как его правая нога слегка подгибается в колене — сама, без его участия, — и выпрямляется, и снова подгибается, и выпрямляется, задавая ритм, которого он не слышал, но который, судя по всему, существовал где-то внутри него, глубже слуха, глубже сознания, там, где живёт только тело. Он посмотрел вниз, на свою ногу, с тем выражением лица, с каким смотрят на чужой предмет, случайно оказавшийся в собственном кармане. Нога не слушалась.

— Тьерри, — сказал он, и голос у него был совершенно спокойным, почти удивлённым. — У тебя тоже?

Массон смотрел на свои руки. Обе руки двигались — мягко, плавно, описывая в воздухе дуги, которых он не планировал. Он попытался остановить их, сжал кулаки, разжал — и руки продолжили движение, как будто получали команды из какого-то другого источника, недоступного его воле.

— Что это, — сказал он. Не спросил — констатировал, потому что вопросительная интонация предполагает ожидание ответа, а ответа не было.

То, что началось потом, заняло не больше двух минут — столько времени потребовалось, чтобы газ, просочившийся через разлом, распределился по замкнутому объёму туннеля и достиг той концентрации, при которой нейротоксический эффект становится полным и необратимым. Двух минут оказалось достаточно для сорока двух человек.

Они танцевали.

Это слово — единственное точное, хотя и самое неправдоподобное. Не судороги, не конвульсии в медицинском смысле, не эпилептический приступ. Движения были ритмичными, почти слаженными — у каждого своя амплитуда, своя траектория, но у всех одинаковый внутренний пульс, как будто сорок два человека слышали одну и ту же музыку, которой не существовало. Форнье двигался крупно, всем телом, его большие руки описывали широкие дуги. Массон — мелко и быстро, почти на месте, только плечи и голова. Пожилой бурильщик Кристиан Амар, проработавший в туннелях двадцать лет, двигался медленно и почти величественно, как человек, танцующий вальс в полном одиночестве посреди пустого зала. Никто не кричал. Никто не просил о помощи. Лица у всех были одинаковыми — не искажёнными болью, не застывшими в ужасе, а скорее сосредоточенными, обращёнными внутрь, как бывает у людей, выполняющих трудную, требующую полного внимания работу.

Автоматика туннеля сработала через четыре минуты после разлома породы. Диспетчер — молодая женщина по име-

ни Сандрин Луазо, работавшая на этом посту восемь месяцев, — сначала решила, что это ложное срабатывание. Потом включила камеру внутреннего наблюдения туннельного участка номер семь.

То, что она увидела на экране, она потом описывала одинаково всем — следователям, психологу, журналистам, которых она так и не пустила к себе домой, — одной и той же фразой, без вариаций: «Они все танцевали. Все сорок два. В темноте, под землёй, совершенно одни. И никто из них, судя по всему, не понимал, что происходит что-то плохое».

Она нажала кнопку общей тревоги в 06:47 утра.

* * *

Первая бригада спасателей вошла в туннель в противогазах через восемнадцать минут. К тому времени вентиляция уже частично разогнала газ, и концентрация упала до уровня, при котором новые жертвы не прибавлялись — но те, кто уже получил дозу, продолжали двигаться. Спасатели действовали по протоколу химического заражения. Протокол, разработанный для совершенно других ситуаций, здесь выглядел нелепо — потому что «пострадавшие» не лежали без сознания и не требовали реанимации. Они танцевали.

Некоторые уже с трудом держались на ногах — тело начинало давать сбой после сорока минут непрерывного движения, суставы не были рассчитаны на такую нагрузку, — но продолжали. Форнье двигался уже медленнее, его большое тело качалось из стороны в сторону с монотонностью маят-

ника, и спасатель, попытавшийся его остановить, удержат за плечи, обнаружил, что это физически невозможно — не потому что Форнье сопротивлялся, а потому что тело его двигалось с той же непреодолимой инерцией, что и маятник, и остановить его означало либо сломать, либо отпустить.

Отпустили.

Люк Форнье умер в 09:23 от острой сердечной недостаточности, вызванной критическим физическим истощением. Его сердце, которое билось без остановки сорок минут в режиме максимальной нагрузки, просто остановилось. За ним, с разницей в семь и в двенадцать минут, умерли Кристиан Амар и ещё один рабочий — Анри Жирар, пятидесяти одного года, отец троих детей, за три недели до пенсии. Остальные выжили, хотя несколько человек получили разрывы связок и трещины в костях от нагрузки, несовместимой с обычной человеческой физиологией.

К десяти утра оцепление было выставлено на радиус двухсот метров. Над местом происшествия кружили полицейские дроны. Слово «биотерроризм» в заявлении не фигурировало, но именно оно первым прозвучало на закрытом совещании в префектуре в 11:00, и именно оно первым появилось в социальных сетях в 11:23 — никто так и не выяснил, кто его вбросил.

В Брюсселе дежурный офицер Еврокомиссии получил зашифрованный протокол в 11:47. Цепочка была короткой — четыре звена, — и уже в 13:30 был подписан мандат на со-

здание международной экспертной группы с чрезвычайными полномочиями. В мандате значились четыре имени. Все четверо в этот момент находились в разных точках Европы и Азии и ещё не знали, что их жизни изменились.

Страсбург тем временем пытался жить нормально. Трамваи всё ещё ходили — в объезд, но ходили. Только в барах и brassериях разговор шёл только об одном — и слова «танцевальная чума» были произнесены вслух впервые, сначала как шутка, потом как вопрос, потом как что-то, от чего становилось не по себе. Потому что каждый эльзасец знает эту историю. Её знают все — как знают о наводнениях Рейна и о войнах, которые прокатывались через этот город с методичностью времён года. Лето 1518 года. Фрау Трофффеа. Четыре сотни человек. Танец, который длился два месяца и унёс десятки жизней.

Город помнил. И сейчас, стоя у ограждений и глядя на полицейские машины и машины скорой помощи, люди думали об одном и том же — и не говорили об этом вслух, потому что это казалось слишком диким, слишком средневековым, слишком невозможным для июньского утра двадцать первого века. Но думали.

* * *

Профессор Клаус Шмидт узнал о случившемся из новостной ленты в 12:04, когда сидел в своём кабинете в Мюнхенском университете и пил третью за утро чашку кофе. Болезнь Паркинсона на ранней стадии — это ещё не инвалидность,

это пока только неудобство, только постоянное напоминание о том, что тело начало жить по собственному расписанию, не спрашивая хозяина. Шмидт научился с этим жить. Он поставил чашку, подождал, пока дрожь утихнет, и дочитал статью до конца.

Потом он сидел неподвижно примерно минуту.

Потом встал, подошёл к стеллажу, занимавшему всю восточную стену кабинета, и без колебаний снял с полки папку с надписью от руки: «Страсбург, 1518. Архивные материалы». Он работал с этими материалами пятнадцать лет. Он знал их наизусть — каждый документ, каждую дату, каждое имя. Он написал о Танцевальной чуме три статьи, одну монографию и один научно-популярный очерк, который, к его собственному удивлению, был переведён на семь языков. Он знал всё, что можно было знать об этом событии с точки зрения историка.

И всё же, открывая папку, он почувствовал что-то, чего не чувствовал давно — то особое возбуждение, которое бывает только тогда, когда история, казавшаяся закрытой, вдруг оказывается открытой снова.

Его телефон зазвонил в 12:17. Номер был брюссельским.

* * *

Елена Ростова в этот момент находилась в восьми метрах от поверхности земли — для неё это было примерно то же самое по степени отрезанности от остального мира, что и восемь километров. Полевой лагерь в Центральном мас-

сиве, изучение геотермальных аномалий, третья неделя без нормального душа и нормального кофе. Страсбург на карте был отмечен красным кружком — она сама его поставила три года назад, когда работала над статьёй о сейсмической активности верхнерейнского грабена. Красный кружок означал «зона повышенного интереса». Она никогда не думала, что интерес окажется таким буквальным.

Звонок из Брюсселя застал её уже собирающей рюкзак.

* * *

Такаши Сато спал. Токийское время — половина восьмого вечера, он работал с пяти утра, и короткий сон после ужина был частью его режима, выработанного годами и защищённого с той тихой непреклонностью, которая у японцев часто выглядит как вежливость, но на самом деле является сталью. Его разбудил ассистент, который имел право войти в комнату только в трёх случаях: пожар, землетрясение и срочный вызов международного уровня. Ассистент вошёл, поставил на прикроватный столик планшет с открытой новостной страницей и тихо сказал одно слово: «Страсбург».

Сато прочитал. Встал. Умылся. Через сорок минут он уже был в лаборатории, собирая портативный аналитический комплект, который он называл про себя «аварийным чемоданом» и который был готов к быстрому развёртыванию в любых полевых условиях. Его руки двигались методично и быстро — руки человека, который знает, что берёт, зачем берёт и что будет с этим делать. В голове у него уже скла-

дывалась структура первичного анализа: сначала идентификация соединения, потом механизм воздействия, потом вопрос, который его интересовал больше всего остального, — почему именно двигательные центры, почему именно ритм, почему тело превращается в инструмент, играющий мелодию, которую никто не слышит.

Брюссель позвонил, пока он ещё укладывал чемодан.

* * *

Марк Дюпон узнал последним — не потому что был недосягаем, а потому что сознательно избегал новостей. Он принципиально не читал новости до полудня: это, по его убеждению, единственный способ начать день с ясной головой. В половине первого он сидел в кафе на улице Меркьер в Лионе, пил пиво — первое за день, это тоже было принципом, — и смотрел, как его телефон вибрирует на столе уже в шестой раз подряд. Шестой звонок он всё же взял.

Голос в трубке был официальным, брюссельским, с той особой интонацией, которую Дюпон моментально распознал как «вам предлагают то, от чего нельзя отказаться». Он выслушал. Задал три вопроса — коротких, конкретных, профессиональных. Получил три ответа. Потом спросил четвёртое:

— Насколько глубоко?

— Пока неизвестно, — сказал голос в трубке.

— Хорошо, — сказал Дюпон. Это означало согласие. Глубина неизвестна — значит, интересно. Всё остальное было

детальями.

Он допил пиво, оставил деньги на столе и вышел на улицу. Над Лионом было синее июньское небо, и воздух пах рекой, и всё было совершенно нормально — так бывает всегда перед тем, как что-то начинается по-настоящему.

* * *

В туннеле под Страсбургом, в том месте, где порода треснула и выпустила что-то, чему ещё не придумали названия, теперь стояли двое в защитных костюмах и молча смотрели на разлом. Трещина была неширокой — в самом широком месте не больше ладони, — но шла она глубоко, уходя в темноту за пределы того, что могли осветить их фонари. Один из двоих — сапёр, вызванный на случай обнаружения взрывчатки, — присел на корточки и поднёс прибор к краю разлома. Прибор показал ноль по всем параметрам, которые умел измерять. Сапёр встал, пожал плечами и сказал напарнику: — Газ рассеялся. Ничего нет.

Напарник кивнул.

Оба ошибались. Газ не рассеялся — он отступил, как отступает вода во время отлива, зная, что прилив вернётся. Трещина была закрыта — не породой, не заглушкой, а просто давлением, которое выровнялось после первого выброса. До следующего выброса оставалось — по самым оптимистичным расчётам, которые ещё никто не делал, — от нескольких дней до нескольких недель.

Под трещиной, на глубине, которую никто пока не изме-

рял и не мог измерить существующими приборами, что-то медленно и терпеливо дышало.

Глава 2. Лето господне, год 1518-й

I. Из хроники Генриха Баура, писаря магистрата города Страсбурга

Июля, дня двенадцатого, в год от Рождества Христова тысяча пятьсот восемнадцатый.

Долг мой состоит в том, чтобы записывать происходящее точно и без украшений, как того требует служба магистрату и как меня учил мой наставник Вильгельм Крейц, говоривший, что писарь, добавляющий к фактам собственные домыслы, подобен повару, подмешивающему яд в добрую пищу. Посему я запишу лишь то, что видел сам и что подтверждено свидетельствами лиц, заслуживающих доверия.

Сегодня на площади перед церковью Святого Мартина была замечена женщина по имени Троффеа, супруга торговца сукном Хенрика Троффеа, человека известного в городе и пользующегося уважением среди цеховых старшин. Женщины сия, по имеющимся сведениям, вышла из дома своего на рассвете, не взяв с собой ни корзины, ни денег, ни какой-либо иной надобности, и направилась к площади, где и начала совершать движения, которые очевидцы описывают как танец. Движения сии продолжались без перерыва с рассвета и

до захода солнца — я сам наблюдал их в течение двух часов в послеполуденное время, будучи направлен магистратом для составления описания происходящего.

Описать увиденное точно затруднительно, и я скажу прямо: у меня нет слов, которые были бы одновременно точны и приличны для официального документа. Женщина двигалась. Она двигалась так, как двигаются люди под музыку — но музыки не было. Она двигалась непрерывно, не останавливаясь ни на минуту, ни на мгновение, и на лице её не было выражения боли или страдания — напротив, лицо её было спокойным, почти безмятежным, как у человека, занятого привычным и приятным делом. Несколько раз участливые горожане пытались её остановить — брали за руки, заступали дорогу, уговаривали словами. Она не слышала. Или слышала, но не могла ответить. Трудно сказать, что хуже.

К вечеру ноги её были в крови — башмаки стёрлись насквозь, и она продолжала двигаться по мостовой босиком, и камни резали ей ступни, и она не останавливалась.

Муж её, Хенрик Троффеа, стоял в стороне и смотрел. Он не плакал. У него было лицо человека, который видит нечто, выходящее за пределы его понимания, и который ещё не решил, что с этим делать. Я подошёл к нему и спросил, когда это началось. Он ответил: на рассвете. Я спросил, была ли она больна прежде, имела ли какую-либо слабость ума или странность нрава. Он посмотрел на меня долго, прежде чем ответить.

— Моя жена, — сказал он наконец, — была совершенно здорова вчера вечером. Мы ужинали вместе. Она говорила о том, что нужно починить крышу до зимних дождей.

Больше он ничего не сказал.

Я записал всё это и отнёс в магистрат. Господин бургомистр Якоб Мейер выслушал меня, не перебивая, и долго молчал, глядя в окно. Потом сказал, что, по всей видимости, это болезнь, природа которой нам пока неизвестна, и что следует призвать лекарей.

Лекари пришли на следующий день. Что они сказали — я запишу отдельно.

* * *

Июля, дня пятнадцатого.

Прошло три дня, и я должен записать следующее: женщина Троффеа продолжает танцевать. Это уже три дня без сна, почти без еды — несколько раз удалось влить ей в рот немного воды и бульона, когда движение головы совпадало с наклоном кубка. Лекари осмотрели её и разошлись во мнениях. Старший из них, мастер Готфрид из Базеля, человек учёный и уважаемый, сказал, что это, по его суждению, избыток горячей крови и что следует пустить кровь и дать успокоительные травы. Средства сии были применены — в той мере, в какой их вообще возможно применить к человеку, не останавливающемуся ни на секунду, — и не дали никакого результата.

Второй лекарь, молодой, присланный из Фрайбурга и на-

зывающий себя учеником знаменитого Парацельса, сказал нечто, что задело меня, хотя я и не уверен, что следует это записывать в официальный документ. Он сказал, что видел нечто подобное в горных деревнях, там, где добывают серебряную руду, и что тогда это тоже начиналось с одного человека, а потом распространялось. Он не договорил — его перебил мастер Готфрид, назвавший эти слова невежественной болтовнёй, — но я запомнил.

Сегодня к Троффеа присоединились ещё четверо. Трое женщин и один мужчина, кожевник с улицы Скотобоен. Все четверо начали в разное время суток и в разных местах города, но все четверо двигаются с тем же неостановимым ритмом. Магистрат заседал сегодня три часа. Решения не приняли никакого, кроме как послать за священником.

Я записываю это и думаю о том, что мой наставник Вильгельм Крейц учил меня записывать только факты. Но иногда факты таковы, что за ними чувствуется нечто, чего в документ не вложишь. Я не знаю, как это назвать. Тревогой, наверное. Или предчувствием того, что это только начало.

* * *

II. Агнес Вебер, восемнадцати лет, дочь ткача с улицы Вебергассе

Я не умею писать так, как пишет учёный человек, и никогда не умела. Мать говорила, что мне достаточно знать буквы, чтобы читать молитвенник, и это правда, этого мне хватало всегда. Но отец Себастьян сказал мне: запиши, что пом-

нишь, запиши своими словами, как умеешь, потому что твои слова важны не меньше учёных слов. Он дал мне бумагу и чернила. Я сижу у окна и пишу медленно, и рука устала уже после первых строк, потому что я не привыкла держать перо, — я привыкла держать челнок.

Это началось в воскресенье, ранним утром, когда я шла к утрене. Я шла через площадь — ту самую, где уже несколько дней стояла и двигалась несчастная Троффеа, которую все уже знали в городе и на которую ходили смотреть, как ходят смотреть на пожар или на казнь, — то есть с ужасом, но и с тем нехорошим любопытством, от которого потом стыдно. Я остановилась посмотреть на неё. Недолго. Мне было её жалко, и страшно, и я подумала, что надо поскорее уйти, потому что смотреть на чужое несчастье неправильно.

Я ушла. Дошла до церкви. Помолилась.

И на обратном пути, когда я уже почти дошла до нашего переулка, я почувствовала, как у меня начинают двигаться ноги.

Я не умею объяснить это так, чтобы было понятно тому, кто этого не чувствовал. Это не как когда дёргается нога во сне — это другое. Это как будто внутри тебя есть что-то, что слышит музыку, которую ты сам не слышишь, и хочет двигаться в такт этой музыке, и начинает двигаться, и ты можешь чувствовать каждое движение, ты не теряешь сознание, ты понимаешь всё, что вокруг тебя происходит, — ты просто больше не распоряжаешься своим телом. Это как

смотреть, как кто-то другой делает то, что должна делать ты, — только этот кто-то другой живёт внутри твоих же рук и ног.

Мама увидела меня из окна. Она потом говорила, что сначала подумала, что я дурачусь, — я иногда дурачилась, это правда, это грех, я знаю. Но потом поняла, что нет, и убежала на улицу и стала меня держать, и звать по имени, и плакать, и трясти, — и я всё слышала, я слышала, как она плачет, мама, и я хотела сказать ей: мама, я здесь, я не ушла никуда, я тебя слышу, не плачь, — но не могла. Рот у меня двигался, но только чтобы дышать, потому что тело всё третило на движение, и на слова не оставалось ничего.

Сосед наш, Герман, помог маме втащить меня в дом. Они привязали меня к кровати — не из жестокости, а потому что не знали, что ещё делать, — и я лежала привязанная и продолжала двигаться, и верёвки резали мне запястья, и всё равно не могла остановиться, пока не потеряла сознание от усталости.

Это было только первый день.

Когда я пришла в себя, то первое, о чём подумала, — не о боли, не о верёвках, не о том, что будет дальше. Я подумала: снова. Потому что в теле уже снова что-то начиналось — тихо, как будто бы издалека, — тот же ритм, то же ощущение музыки, которой нет. И я поняла тогда, что это не кончилось. Что это только перерыв.

Я лежала в темноте и слушала своё тело, как слушают чу-

шой голос. И мне было страшно. Не так, как бывает страшно от темноты или от грозы. Страшно так, как бывает, когда понимаешь, что что-то очень важное, что всегда было твоим, больше тебе не принадлежит.

Отец Себастьян пришёл на третий день. Он сел рядом и долго молчал. Потом спросил, слышу ли я его. Я моргнула — это было всё, что я могла. Он кивнул, как будто это был нормальный ответ, и начал читать молитву. Я слушала. Тело двигалось. Молитва не помогала — но его присутствие помогало. Это разные вещи.

Я пишу это сейчас, когда мне лучше. Не хорошо — лучше. Тело слушается, но не так, как раньше. Как будто что-то сдвинулось внутри и не встало обратно на место. Отец Себастьян говорит, что это пройдёт. Я ему верю, потому что хочу верить. Это, наверное, тоже грех — верить не потому, что знаешь правду, а потому что правда слишком страшна.

* * *

III. Отец Себастьян Кольб, приходской священник церкви Святого Мартина

Я принял сан двадцать лет назад, в возрасте двадцати двух лет, с твёрдым убеждением в том, что вера даёт ответы на все вопросы, которые только может задать человек. Двадцать лет прошло, и я по-прежнему верю — но я больше не уверен, что все вопросы имеют ответы. Это различие небольшое на словах и огромное на деле.

Когда начался этот ужас — я называю его ужасом, потому

что другого слова у меня нет, хотя сам слышу, что это слово недостаточно, — я сделал то, что должен делать священник: я молился, я соборовал больных, я увещевал прихожан не поддаваться панике и помнить, что Господь не посылает испытания сверх того, что человек способен вынести. Я говорил это с кафедры. Я говорил это у постелей больных. Я говорил это себе самому по ночам, когда не мог заснуть.

Не могу сказать, что сам в это верил всё время.

Прошло две недели с первого случая, и теперь танцуют уже больше тридцати человек. Среди них — дети. Самому младшему десять лет, мальчик Питер, сын кузнеца. Он танцует уже пять дней. Смотреть на это невозможно. Я смотрел. Это мой долг — смотреть и не отводить взгляд. Но после каждого такого посещения я прихожу домой и долго сижу в темноте, потому что не нахожу в себе слов ни для молитвы, ни для чего-либо ещё.

Магистрат нашёл решение, которое мне кажется опасным, хотя я понимаю логику тех, кто его предложил. Решено было не запрещать танец, а напротив — создать для танцующих специальные площадки, нанять музыкантов, чтобы те играли непрерывно, и тем самым дать болезни «выгореть» быстрее. Это старое народное убеждение: что если танец начался, его нужно довести до конца, иначе болезнь уйдёт внутрь и погубит душу.

Я возразил против этого решения. Сказал, что музыканты лишь усилят возбуждение, что нельзя лечить огонь огнём.

Меня выслушали и не послушались.

Музыкантов наняли.

Количество танцующих за следующую неделю утроилось.

Я хожу между ними каждый день. Смотрю на их лица. Это то, что меня беспокоит больше всего и о чём я не говорю с прихожанами — потому что не знаю, как объяснить то, что вижу, в рамках того, чему меня учили. Их лица. На этих лицах нет страдания. Есть усталость — огромная, нечеловеческая, такая, какой я никогда не видел, — но страдания нет. Есть что-то другое. Что-то похожее на сосредоточенность, на погружённость, почти на покой. Как будто они слышат что-то, чего мы не слышим, и это что-то важнее боли.

Я думал об этом долго. И однажды у меня возникла мысль, которую я не решаюсь записать полностью, потому что она граничит с ересью.

Мысль такая: что если это не наказание? Что если земля — не метафора, а буквально земля, та, на которой мы стоим и под которой мы будем лежать, — что-то говорит этим людям? Что если ритм, который они слышат и которому подчиняется их тело помимо воли, — это не дьявол и не болезнь, а что-то, у чего нет названия в наших книгах, потому что наши книги написаны людьми, а это — старше?

Я говорю себе, что это богохульство. Я говорю себе, что усталость и горе порождают странные мысли. Я говорю себе многое.

Но вопрос остаётся.

Сегодня я сидел у постели Агнес Вебер и читал молитву, и она лежала привязанная к кровати и смотрела на меня — не с мольбой, не со страхом, а с каким-то тихим, почти терпеливым выражением, как будто ждала, когда я закончу, чтобы сказать мне что-то важное. Конечно, она ничего не сказала. Она не могла говорить.

Но я всё равно подождал.

Ночью мне приснилось, что я стою над большой ямой, и из ямы идёт тепло, и я слышу снизу что-то вроде музыки — не мелодию, просто ритм, очень глубокий, очень медленный, как сердцебиение чего-то огромного. Я проснулся до рассвета и долго лежал, слушая тишину.

В тишине тоже был ритм. Или мне казалось.

Это запись для себя, не для магистрата. Когда всё кончится — если кончится — я, возможно, её сожгу. Некоторые мысли не должны переживать того человека, которому они пришли в голову.

Глава 3. Международная группа

Они прилетели в разное время и разными рейсами, но все четверо оказались в одном месте к девяти утра следующего дня — в конференц-зале префектуры Нижнего Рейна, куда их провели через боковой вход, минуя журналистов, уже занявших позиции у главного входа. Конференц-зал был обычным административным помещением — длинный стол, сту-

лья с жёсткими спинками, кондиционер, работавший слишком громко, флаги Франции и Евросоюза в углу. Ничто в этой комнате не предполагало, что здесь будут обсуждать что-то из ряда вон выходящее. Это было, пожалуй, намеренно.

Шмидт приехал первым — он всегда приезжал первым, это была одна из тех маленьких привычек, которые складываются незаметно и потом живут своей жизнью. Он сидел у окна и разбирал бумаги из своей папки, раскладывая их в одному ему понятном порядке, когда вошла Ростова. Она вошла так, как входят люди, привыкшие к полевым условиям, — без лишних движений, без оглядки, сразу оценив комнату одним взглядом, как оценивают местность перед тем, как разбить лагерь. Поставила рюкзак у двери. Налила воды из графина. Села напротив Шмидта.

— Вы историк, — сказала она. Не вопрос, констатация.

— Архивист и историк, — поправил Шмидт мягко. — Клаус Шмидт, Мюнхенский университет.

— Елена Ростова. — Она не добавила ни университета, ни звания. — Вы уже были в туннеле?

— Ещё нет.

— Я была. Час назад. Пустили только на внешний периметр, ближе не подпускают без допуска. — Она помолчала. — Трещина интересная.

Шмидт поднял взгляд от бумаг.

— В каком смысле интересная?

— В том смысле, что она идёт не горизонтально. Вертикально. И старая — не от бурения. Эта трещина была там до того, как они начали работы. Просто не знали.

Дюпон появился в дверях через несколько минут — он был из тех людей, которые заполняют комнату раньше, чем войдут в неё: что-то в его движениях, в том, как он держал голову, предполагало привычку к пространствам, где нельзя двигаться слишком широко, и одновременно — полное пренебрежение этим ограничением. Он был в рабочей куртке, застиранной, с пятнами известняка на рукаве. Он пожал руки обоим, взял стул, развернул его спинкой вперёд и сел верхом.

— Марк Дюпон, — сказал он. — Кто-нибудь знает, какой формат у этого совещания? Потому что у меня есть данные по подземной топографии этого района, и если мы говорим о серьёзной работе, мне нужно знать, сколько у нас времени.

— Мандат даёт нам чрезвычайные полномочия, — сказал Шмидт. — Конкретного формата пока нет. Насколько я понимаю, нас собрали для того, чтобы мы сами его определили.

— Значит, серьёзная работа, — заключил Дюпон с удовлетворением, как человек, получивший именно тот ответ, которого ожидал.

Сато вошёл последним — в 08:58, то есть за две минуты до объявленного начала, что для него было поздно. Он был единственным из четверых, кто приехал с чемоданом на колёсиках, — аккуратным, чёрным, запертым на два замка. Он

поздоровался со всеми одновременно лёгким наклоном головы, сел, открыл ноутбук и без паузы сказал:

— Я изучил предварительный химический анализ воздуха из туннеля, который был отправлен мне в четыре утра. Там есть несколько вещей, которые требуют немедленного обсуждения. Когда мы начинаем?

Чиновник из Еврокомиссии — молодой, с планшетом и галстуком на два тона светлее пиджака — вошёл ровно в девять и начал говорить сразу, не присаживаясь. У него была речь. Речь была подготовленной, структурированной, она содержала слова «беспрецедентный», «протокол», «конфиденциальность» и «полное взаимодействие со стороны французских властей». Четверо учёных слушали с той профессиональной вежливостью, которая означает: мы ждём, пока вы закончите.

Он закончил через семь минут.

— Благодарим, — сказал Шмидт. — Теперь нам нужно поговорить между собой.

Чиновник моргнул.

— Разумеется, я присутствую как наблюдатель от Комиссии и—

— Нам нужно поговорить между собой, — повторил Шмидт тем же ровным, почти ласковым тоном, которым педантичные люди умеют закрывать разговор, не повышая голоса.

Чиновник вышел. Дюпон проводил его взглядом, потом

повернулся к остальным.

— Мне он нравится, — сказал он. — Сразу видно человека на своём месте.

* * *

Первые два часа они говорили о том, что знали. Это был профессиональный разговор — без лирики, без предисловий, с той скоростью обмена информацией, которая возникает между людьми, привыкшими работать в условиях цейтнота. Сато открыл файл с предварительным анализом и вывел его на экран. Ростова достала полевые заметки — несколько листов, исписанных мелким, совершенно разборчивым почерком, — и начала с ними сверяться. Шмидт разложил на столе копии архивных карт Страсбурга шестнадцатого века, которые он захватил из Мюнхена. Дюпон следил за картами Шмидта с нескрываемым интересом.

— Это откуда? — спросил он, указывая на одну из них.

— Городской архив, — сказал Шмидт. — Копии, конечно. Оригиналы я держу в руках только в архиве. Это план Страсбурга тысяча пятьсот восемнадцатого года с пометками магистрата — здесь отмечены места, где фиксировались случаи Танцевальной чумы.

Дюпон смотрел на карту долго.

— Вы знаете, где именно проходит трасса современного туннеля?

— Примерно.

— Дайте мне карту.

Шмидт протянул. Дюпон достал из нагрудного кармана маркер и несколькими уверенными линиями нанёс на старый план контуры современной трассы. Потом все четверо смотрели на то, что получилось, и молчали.

Линия туннеля прошла точно через три из пяти отмеченных Шмидтом точек.

— Ну, — сказал наконец Дюпон. — Это не совпадение.

— Нет, — согласилась Ростова. — Это не совпадение.

Сато ничего не сказал. Он смотрел на карту, потом на свой ноутбук, потом снова на карту, и в его взгляде было то выражение, которое Ростова потом описывала как «лицо человека, который уже знает ответ, но ещё не решил, как его произнести».

— Такаши, — сказала она. — Что в анализе?

Сато повернул ноутбук экраном к остальным.

— Это неполные данные, — сказал он сразу, — потому что пробы были взяты через два с половиной часа после инцидента, когда вентиляция уже работала в аварийном режиме и концентрация упала. Мы видим лишь остаточный след. Но даже этот след достаточно характерен. — Он указал на несколько строк в таблице. — Здесь органические молекулы с очень высокой молярной массой. Здесь — следы нескольких углеводородных цепочек, которые я не могу идентифицировать стандартными методами. И вот здесь — это самое интересное — следы соединений, которые по структуре напоминают нейромедиаторные агонисты. Конкретно — аго-

нисты дофаминовых рецепторов D1 и D2.

Наступила тишина.

— Переведите, — сказал Дюпон. — Я спелеолог.

— Это означает, — сказал Сато терпеливо, — что газ содержит соединения, которые при вдыхании имитируют действие дофамина — вещества, которое в норме отвечает за мотивацию, движение и ощущение удовольствия. Но в данном случае — в концентрации, значительно превышающей физиологическую норму. Эффект можно сравнить с тем, как если бы двигательные центры мозга получили команду двигаться с максимальной интенсивностью и одновременно сигналы усталости были полностью заблокированы.

— То есть, — медленно произнесла Ростова, — тело двигается, пока не сломается.

— Или пока не остановится сердце, — сказал Сато. — Что и произошло с тремя из сорока двух человек.

Снова тишина. За окном Страсбург продолжал жить — трамвай прошёл по улице, где-то ударил колокол, мужской голос что-то выкрикнул далеко внизу. Всё это звучало неправдоподобно нормально.

— Это природный газ, — сказала Ростова. Не вопросительно.

— По всей видимости, — подтвердил Сато. — Искусственный синтез соединений такой сложности — это уровень, который в настоящее время недостижим ни в одной лаборатории мира. Это не оружие. Это не теракт.

— Это земля, — сказал Шмидт тихо.

Все посмотрели на него.

Он сидел над своими картами, и его руки — те самые, которые дрожали по утрам и в усталые дни, — сейчас лежали на столе совершенно неподвижно, прижимая к поверхности края старой бумаги.

— Пятьсот лет назад то же самое произошло в том же месте, — сказал он. — После землетрясения в Альпах тысяча пятьсот восемнадцатого года активизировались тектонические микроразломы по всему верхнерейнскому грабену. Несколько из них прошли прямо под Страсбургом. — Он обвёл пальцем несколько точек на карте. — Здесь, здесь и здесь. Люди получили дозу газа из трещин в мостовой, в подвалах, в нижних этажах домов. Они не понимали, что происходит. Никто не понимал. Они называли это болезнью, одержимостью, Божьей карой. Некоторые — особенно один молодой врач из Фрайбурга, ученик Парацельса, чьи записи сохранились лишь фрагментарно, — пытались найти другое объяснение. Но никто его не услышал.

— Вы говорите так, как будто уже всё знаете, — сказал Дюпон.

— Я знаю историческую часть. — Шмидт позволил себе лёгкую улыбку. — Геологическую часть знаете вы.

Дюпон наклонился над картой.

— Верхнерейнский грабен, — произнёс он задумчиво. — Это один из самых геологически активных регионов Цен-

тральной Европы. Базельское землетрясение тысяча триста пятьдесят шестого года — самое разрушительное в истории региона. Потом были более мелкие, регулярные. Тысяча пятьсот восемнадцатый год — Елена, в твоих данных что-то есть по этому периоду?

Ростова кивнула.

— Альпийская сейсмическая активность в первой половине шестнадцатого века была повышенной. Есть несколько хроник с описаниями небольших землетрясений в тысяча пятьсот семнадцатом — восемнадцатом годах в регионе Базеля и Эльзаса. — Она помолчала. — Вертикальная трещина в туннеле, которую я видела сегодня утром, по типу разлома напоминает именно тектонический сдвиг, а не механическое повреждение. Она старая. Очень старая, возможно, намного старше восемнадцатого века.

— Значит, газ сидел там всё это время, — сказал Дюпон.

— Газ никуда не девался, — подтвердила Ростова. — Трещина просто закрылась после первого выброса — давление выровнялось. Но источник никуда не делся.

— Источник, — повторил Сато, и в этом повторении было что-то тщательное, взвешивающее. — Мне нужно понять природу источника, прежде чем мы пойдём дальше. Потому что органические молекулы такой сложности не образуются в обычных тектонических условиях. Это не просто газовый карман.

— Нет, — согласилась Ростова, и в её голосе было что-то,

что заставило остальных снова посмотреть на неё. Она смотрела в окно — не на Страсбург снаружи, а куда-то дальше, как смотрят люди, когда видят не то, что перед глазами, а то, что сложилось в голове. — Это не просто газовый карман. Я думаю об этом с момента, когда увидела трещину. Там, внизу... там что-то большее. Намного большее. Но для того чтобы это утверждать, мне нужны данные с глубины. Мне нужно туда спуститься.

Наступила пауза.

— Туда, — сказал Дюпон. — Ты имеешь в виду в туннель?

— В туннель и глубже. В то, что под туннелем.

— Под туннелем восемнадцать метров мостовой, потом коренная порода, потом—

— Потом разлом, — перебила Ростова. — Вертикальный разлом, уходящий вниз. Я хочу знать, куда он уходит.

Дюпон смотрел на неё несколько секунд. Потом медленно улыбнулся — той улыбкой, которая у людей его склада означает не веселье, а азарт.

— В Страсбурге есть средневековые подземные коммуникации, — сказал он. — Выработки, водостоки, остатки римских термальных систем. Я знаю эту сеть. Часть её задокументирована, часть — нет. Если разлом действительно вертикальный и старый, он мог пройти через эти системы. — Он снова посмотрел на карту Шмидта. — И если ваши исторические данные верны и средневековые случаи тоже были связаны с разломом — то где-то в этих системах может быть

точка, где газ выходил пятьсот лет назад.

— Вы можете нас туда провести? — спросил Шмидт.

— Не сразу. Мне нужен день, чтобы свериться с картами и проверить состояние входов. Некоторые из них не использовались с девятнадцатого века.

— День у нас есть, — сказал Шмидт. Потом добавил, глядя на свои руки: — Возможно.

Никто не переспросил, что он имел в виду под «возможно». Все поняли по-своему, и все, по всей видимости, поняли правильно.

* * *

Во второй половине дня их повезли к оцеплению. Им выдали пропуска с красной маркировкой, означавшей, по словам сопровождающего офицера, «доступ без ограничений», хотя на деле у каждого КПП их останавливали, проверяли документы, звонили кому-то по рации и только потом пропускали — с тем специфическим сочетанием бюрократической неловкости и плохо скрытого любопытства, которое бывает у людей, охраняющих что-то, природы чего они сами не понимают.

Туннель был закрыт — официально для «технического обследования». У входа стояли две машины в полицейской раскраске и одна без опознавательных знаков, что Дюпон отметил про себя молча и с интересом. Им разрешили подойти к внешнему периметру — бетонному portalу с массивными стальными воротами, сейчас закрытыми. На воротах

была наклеена полоса жёлто-чёрной сигнальной ленты.

Ростова достала портативный анализатор и поднесла его к краю ворот, где между бетоном и металлом оставалась щель в несколько миллиметров. Прибор работал тихо. Потом пискнул.

— Фоновый уровень, — сказала она. — Вентиляция справляется. Но след есть.

Она дала прибор Сато. Тот посмотрел на показания, ввёл что-то в телефон и кивнул.

— Те же органические компоненты. Концентрация в чetyреста раз ниже критической. — Он помолчал. — Пока.

Шмидт стоял чуть в стороне, не глядя на ворота. Он смотрел на мостовую под ногами — старую, булыжную, сохранившуюся здесь с каких-то реставрационных соображений среди новых кварталов, — и думал о том, что под этими камнями, под этим бетоном, под всеми слоями того, что люди успели за несколько веков настроить и закопать и проложить, лежит что-то, что ждало. Не терпеливо, не нетерпеливо — просто лежало и существовало, как существует всё геологическое: вне времени, вне человеческих категорий, вне понятий «рано» и «поздно».

Его правая рука слегка задрожала. Он убрал её в карман.
— Я хочу показать вам кое-что, — сказал он, обращаясь ко всем троим. Он достал из папки один лист — фотокопию рукописного текста на старонемецком, почти нечитаемого без специальной подготовки. — Это фрагмент хроники

городского писаря от июля тысяча пятьсот восемнадцатого года. Официальный документ. Здесь он описывает место, где начались первые случаи. — Шмидт провёл пальцем по тексту. — Вот это слово — «Brunnenplatz» — площадь фонтана. Этот фонтан существовал до семнадцатого века, потом его снесли при перестройке квартала. Но я знаю, где он стоял. — Он поднял взгляд. — Он стоял именно здесь. Там, где сейчас вход в туннель.

Дюпон смотрел на него.

— Вы это знали, когда летели сюда?

— Я это подозревал. Теперь я уверен.

— И почему вы не сказали об этом сразу?

Шмидт убрал лист обратно в папку.

— Потому что я историк, — сказал он просто. — Мы говорим, когда уверены. Не раньше.

Ростова смотрела на мостовую с тем же выражением, что и утром, — не на камни, а сквозь них, вниз, туда, куда уходил разлом.

— Значит, фонтан, — сказала она. — Старый городской фонтан. Вероятно, питавшийся подземными водами. — Она помолчала. — Водоносный горизонт мог служить транспортной средой для газа. Воды поднимаются вдоль разломов, увлекая с собой растворённые компоненты. Люди пьют воду, дышат испарениями над фонтаном. — Она подняла взгляд на Шмидта. — Это объясняет, почему первые случаи начались именно здесь. Почему именно вокруг площади. Поче-

му потом распространилось дальше, когда газ нашёл другие пути выхода.

— Пятьсот лет назад, — сказал Шмидт тихо, — никто этого не понял. Лекари говорили о горячей крови. Священники — об одержимости. Магистрат нанял музыкантов. — Он сделал паузу. — Они думали, что если будет музыка, танец закончится быстрее.

— Стало хуже? — спросил Дюпон.

— Намного.

— Логично, — пробормотал Дюпон. — Создать условия для большей площади контакта с открытым воздухом, собрать больше людей в одном месте.

— Они не знали.

— Нет. Конечно, не знали. — Дюпон помолчал. — Мы знаем. Это уже что-то.

Сато, всё это время молчавший, вдруг сказал:

— Мне нужен свежий образец — не остаточный след, а концентрированная проба непосредственно у источника. Без этого я не смогу построить полную молекулярную модель. — Он посмотрел на Ростову. — Когда мы спускаемся?

— Послезавтра, — ответила Ростова. — Если Марк успеет с картами.

— Успею, — сказал Дюпон.

Они стояли у закрытых ворот туннеля, и вечерний Страсбург шумел вокруг них, и колокол собора Нотр-Дам ударил шесть раз, и туристы на набережной Иль фотографировали

закатное небо, розово-оранжевое над черепичными крышами, и в воздухе пахло рекой и жареным луком из ближайшей brasserie, — и под всем этим, на глубине, которую никто из них пока не мог назвать точно, что-то медленно и терпеливо дышало.

Шмидт убрал папку под мышку. Его рука больше не дрожала — или он просто перестал обращать на это внимание.

* * *

Вечером, уже в гостинице, он долго сидел над своими бумагами. Номер был небольшим, окно выходило во внутренний двор, где рос каштан, и листья каштана шевелились в тёплом воздухе, и это движение было спокойным и бессмысленным, как всё живое, которое движется просто потому, что живёт, не потому что хочет куда-то прийти.

Он думал о Генрихе Бауре. О писаре, который пятьсот лет назад сидел в этом же городе над своими бумагами и записывал то, что видел, — точно и без украшений, как учил его наставник, — и всё равно не мог понять, что именно он видит. Который написал про молодого врача из Фрайбурга — того, что видел нечто похожее в горных деревнях, где добывают серебряную руду, — и которого никто не послушал. Который, судя по всему, чувствовал, что за фактами стоит нечто большее, и не знал, как это выразить в официальном документе.

Баур не знал. Тот врач из Фрайбурга, возможно, догадывался — и промолчал, потому что время было не то. Теперь

время было другое, и они были здесь, и у них были приборы, и данные, и мандат с красной маркировкой, и всё равно Шмидт чувствовал что-то похожее на головокружение — не от усталости, а от масштаба. От того, что история, которую он изучал пятнадцать лет, вдруг оказалась не историей, а настоящим. Что под этим городом, под этими камнями, под этим каштаном с шевелящимися листьями лежит не прошлое, а что-то, у чего нет времени вовсе.

Он закрыл папку. Встал. Подошёл к окну.

Каштан шевелился.

Шмидт смотрел на него долго — дольше, чем нужно было смотреть на дерево, — и думал о том, что завтра Дюпон будет работать с картами, Ростова — с данными, Сато — со своим аварийным чемоданом, а он будет делать то, что умеет лучше всего: читать старые тексты и искать в них то, что их авторы вложили между строк, не решаясь написать прямо.

Потому что всегда есть то, что написано между строк.

Всегда.

Глава 4. Лето господне, год 1518-й. Музыканты

I. Из хроники Генриха Баура, писаря магистрата города Страсбурга

Июля, дня двадцать восьмого.

Сегодня я насчитал семьдесят три человека.

Я намеренно пишу это число в начале записи, а не в конце, как делал прежде, — потому что прежде числа были меньше и укладывались в привычную логику документа: сначала обстоятельства, потом итог. Теперь итог требует, чтобы его назвали первым. Семьдесят три человека. Неделю назад было тридцать одного. За неделю число увеличилось более чем вдвое. Если оно продолжит расти с той же скоростью, через месяц весь Страсбург будет танцевать.

Я записываю это и понимаю, что это звучит как безумие. Но числа — это числа, и моя обязанность их записывать, даже если я не понимаю, что за ними стоит.

Решение о музыкантах было принято на прошлой неделе. Я возражал против него тогда, хотя это не моё дело — возражать. Я писарь, а не советник. Мои возражения существуют только в этих записях, которые я веду для себя, а не для магистрата. Для магистрата я веду другой журнал, там всё выглядит иначе: взвешенно, официально, без личных суждений. Господин бургомистр Якоб Мейер — человек разумный и в обычных обстоятельствах осторожный. Но обстоятельства не обычные, и разум в необычных обстоятельствах ищет опору там, где привык её находить. Он нашёл опору в народной мудрости, которая говорит: танец нужно довести до конца. Нашёл опору в словах цехового лекаря, который сказал, что движение изгоняет болезнь из тела быстрее, чем покой. Нашёл опору в том, что других решений не было.

Музыкантов привезли из Базеля. Их четверо — лютнист,

флейтист, барабанщик и скрипач, все опытные, все привыкшие играть на площадях и ярмарках, люди без сентиментальности, знающие своё дело. Им заплатили вперёд за две недели. Они играют с рассвета до захода солнца на Рыночной площади, где теперь устроена главная «площадка», как её называет бургомистр, — огороженное пространство, куда направляют танцующих, чтобы они не бродили по всему городу и не мешали торговле и движению.

Я был там сегодня утром. Я хожу туда каждый день — это моя работа, составлять описание. Но каждый день становится всё труднее писать.

Что я видел сегодня утром. Огороженное пространство — примерно сорок шагов в длину и тридцать в ширину, выстланное соломой, потому что каменная мостовая уже разбила слишком много ног. Внутри — семьдесят три человека, все в движении, каждый в своём ритме, но ритмы каким-то образом не сталкиваются, не мешают друг другу, как будто каждый танцующий существует в собственном пространстве, невидимом для остальных. По краям — родственники, которые приносят еду и воду и пытаются кормить и поить своих через ограду, — это получается плохо, потому что руки не слушаются и голова движется, но люди не уходят, стоят часами, ждут чего-то, сами не зная чего. Чуть в стороне — четыре музыканта под навесом из ткани, они играют уже пятый день, и в их игре появилась та механическая монотонность, которая бывает у мастеров, когда они делают то, что

умеют, слишком долго и без отдыха.

Я наблюдал за музыкантами, пока записывал. Барабанщик — немолодой человек с сединой в бороде — смотрел в сторону танцующих долго, дольше, чем обычно смотрят музыканты на свою публику. Потом опустил взгляд. Продолжил играть. Но я заметил, что после этого он слегка изменил ритм — сделал его чуть медленнее, чуть тише, как будто пытался что-то успокоить. Это не помогло. Танцующие подстроились под новый ритм так же легко, как подстраивались под старый. Это, пожалуй, самое жуткое из всего, что я видел за эти недели: что они подстраиваются. Что внешний ритм для них — не источник, а только зеркало. Источник где-то внутри.

Среди новых танцующих — трое детей. Самому старшему двенадцать лет. Я записываю это и откладываю перо.

* * *

Августа, дня третьего.

Умерли ещё двое. Пожилая женщина, вдова кожевника, — её сердце остановилось на восьмой день. Молодой подмастерье портного, девятнадцати лет — от того, что лекари называют «истощением суставов и жил», то есть его тело буквально разрушилось от нагрузки прежде, чем сердце успело остановиться. Он умер, продолжая двигаться, — это я знаю от санитаров, которые несли его тело.

Магистрат провёл сегодня закрытое заседание. Я не присутствовал — меня не пригласили, что само по себе необыч-

но. После заседания господин бургомистр выглядел иначе, чем обычно. Я не могу описать это точнее: просто иначе. Как человек, который принял решение, которое ему не нравится, но которое он считает необходимым.

Завтра музыкантам прибавят жалованье и попросят играть до темноты.

Я записываю это. Перечитываю. Закрываю журнал.

* * *

II. Агнес Вебер

Мне лучше. Это неправда, но я так говорю маме, потому что она смотрит на меня так, как смотрят на человека, которого уже немного оплакивают, хотя он ещё жив, — и я не хочу, чтобы она так смотрела. Поэтому говорю: мне лучше. Встаю. Хожу по комнате. Ем. Пытаюсь держать челнок, но пальцы пока не слушаются — не потому что хотят танцевать, просто слабые, как у маленького ребёнка, и нитка рвётся.

Отец пришёл вчера. Он работает на мельнице за городом и не живёт с нами уже три года — после того как они с мамой поссорились по причине, о которой в доме не говорят. Он вошёл, посмотрел на меня, сел. Долго молчал. Потом сказал: «Ты похудела». Я ответила: «Да». Больше мы ни о чём не говорили, но он сидел долго, почти до вечера, и я думала: вот, значит, для чего это всё было нужно. Чтобы отец пришёл и сидел рядом и молчал. Это глупая мысль, я знаю. Болезнь не бывает нужна ни для чего. Но голова после всего этого делает странные вещи, и я не всегда могу отличить, где за-

канчиваются мои настоящие мысли и где начинаются те, что пришли оттуда, из тех дней.

Из тех дней я помню многое. Это странно — я думала, что не буду помнить, как не помнят сны, которые кажутся важными ночью и исчезают к завтраку. Но я помню. Помню ощущение ритма — не снаружи, а внутри, глубоко, как будто сердце вдруг научилось биться иначе, не так как обычно, а шире и громче, и всё тело хотело двигаться в такт этому новому биению. Помню, что боли почти не было — не тогда, когда это происходило. Боль пришла потом, когда всё кончилось, и тело вдруг вспомнило всё, что с ним делали, и предъявило счёт сразу за все дни.

Помню ещё одно, о чём не говорила отцу Себастьяну, хотя он спрашивал. Помню, что в какой-то момент — кажется, на третий или четвёртый день, я уже не считала — ритм изменился. Стал другим. Медленнее, глубже, как будто источник его ушёл дальше вниз, и я вместе с ним, и там, в этой глубине, было что-то, что я не умею назвать. Не страшное. Не доброе. Просто очень старое и очень большое, и мне в этой глубине было как-то... не знаю. Спокойно. Это неправильное слово, я понимаю. Но другого у меня нет.

Я рассказала об этом только маме. Она послушала, перекрестилась и сказала, что это искушение нечистого, и что я должна молиться, и что она рада, что я выжила. Наверное, она права. Наверное, это было искушение. Но искушение чем — вот чего я не понимаю. Оно не предлагало мне

ничего плохого. Оно просто было там, огромное и старое, и я была рядом с ним, и оно меня не тронуло.

Сейчас я сижу у окна и слышу музыкантов с Рыночной площади. Они играют уже несколько дней, я слышу их с утра до вечера. Лютня, флейта, барабан, скрипка. Музыка хорошая — я понимаю это, хотя мне сейчас трудно слышать музыку без того, чтобы что-то не шевельнулось внутри. Не сильно. Просто — отзывается. Как отзывается старая рана на перемену погоды.

Мама не знает, что я слышу музыкантов. Она думает, что я держу окно закрытым. Я держу его открытым ровно настолько, чтобы слышать, и закрываю, когда она входит. Это нехорошо — обманывать маму. Но мне важно слышать. Я сама не понимаю почему. Может быть, потому что пока слышу музыку снаружи и она меня не уносит — значит, я сильнее, чем думаю. Или потому что ритм барабана похож — совсем чуть-чуть, только намёком — на тот ритм из глубины, и когда я его слышу, то чувствую что-то вроде узнавания. Как будто встретила кого-то знакомого в чужом городе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.